

РОМАН СТАНОВЛЕНИЯ



ВАХТА

...добро пожаловать в одиночество...

СТЕПАН ЗОЗУЛИН

16+

Степан Зозулин

Вахта

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50062344
SelfPub; 2021*

Аннотация

Возможно ли убежать от неумолимого преследователя – самого себя?

Андрею Комову это вот-вот удастся. Запутавшись в жизни, он оказывается на пороге дома в дремучих лесах на пару с куратором, который станет наставником в странном эксперименте. Условия просты: Андрей живет на вахте, протоколируя мысли на допотопном компьютере. Единственные источники информации – беседы с куратором и книга о некоем Еремееве. Старике-писателе, судьба которого все больше напоминает мысли Андрея из вахтенного журнала.

Содержание

Часть 1. Бланк	5
Глава 1	6
Глава 2	53
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Степан Зозулин

Вахта

Нужно быть уничтоженным как человек, чтобы возродиться как личность

Генри Миллер. «Тропик Козерога»

Часть 1. Бланк

2014, осень.

Глава 1

#1

Помнится, мы с куратором жались тогда поближе друг к другу. И вместе – к неуклюжему срубам, который должен был стать мне домом на ближайший год.

Дом, милый дом.

Стояла осень, какая может быть в озерном крае на севере. Я тогда ещё оставался горяч в суждениях и присваивал ярлыки всему, о чем и слыхом не слыхивал. Но дувший отовсюду разом и пробиравший до основания ветер, и правда, впечатлял. Ветру не было особой разницы, из кого выдувать всякую дурь – из человека ли, или из неказистого строения. Оттого вахтенный дом и казался таким желанным, что прошел уже давно этот суровый отбор.

Куратор долго возился с замком. Ни дать, ни взять – слесарь-разрядник. Правда, выглядел совсем для этого неподходяще. На нем был болотного цвета плащ, напоминавший скорее удлиненный пиджак. Он сидел на корточках, и полы пиджака упирались в дощатый приступок. Свитер крупной вязки с широким воротом и манера приглаживать постоянно волосы, которые оставались у него лишь на затылке и висках,

делали его похожим на состарившегося за работой писателя. Такие, наверное, и старели красиво – просто со временем высыхая, но оставаясь благообразными до самого конца.

Нет, я ничего такого не имею в виду. Повозиться с замком, конечно, для него было делом не новым, но обхождение и повадки, с которыми я успел к тому моменту познакомиться, говорили, что не его это дело.

Наконец в руках у него что-то щелкнуло, и навесной замок оказался на ладони. Он продемонстрировал его мне, и так же, не вставая с одной коленки, распахнул передо мной дверь. И только тогда поднялся и встал рядышком.

Мы стояли перед входом в крохотный тамбур. Я чуть не расхохотался от этой картины. Вот мы стоим, как молодые жены. Старик должен сейчас же подхватить меня на руки и внести в дом.

– Заходим? – Вместо этого спросил он.

Я ничего не ответил. Тогда куратор отворил вторую дверь и вошел, приглашая следовать за ним.

Разумеется, я с удовольствием послушался.

Обстановка открылась взгляду скудная. Комната освещалась единственным окном на две створки, прямо под которым стоял стол, подогнанный по ширине подоконника. Сейчас на столе было пусто. В лесу не принято оставлять припасы для мышей и муравьев. И потому видна была клеенка

в разноцветную клетку с темными кругами от сковородок и кастрюль. Справа от входа размещалась раковина с ручком, дальше – разделочный столик и примостившаяся на нем газовая плитка на две конфорки. Здесь же свисали с потолка остатки припасов от предыдущих жильцов, а в глубине, у самой стены, тянулись полки и крючки – вроде кухонного шкафа, а под ними – прибитый к полу короб для хлеба и круп.

Ничего выдающегося.

А вот при виде печки я невольно повел плечами, ежась с наружного холода. Это была простая буржуйка с чугунными боками и выведенной через клетушку с крупными булыжниками трубой.

У дальней стены высились двухэтажные нары буквой Г. Предполагалось, что это «номер» на четверых. Коротким концом они упирались в накрытый покрывалом рабочий стол. По очертаниям я понял, что под ним скрывается компьютер. Причем, допотопный, судя по размерам.

Вряд ли остался от предыдущих хозяев, но я не спросил. Оставался в сладком неведении по всем техническим вопросам.

Пока озирался по сторонам, куратор уже наладил чайник. Вода стояла в железном бидоне возле раковины. С чем, с чем, а с водой в этих краях проблем не было. Чайник засипел, вбирая в себя тепло горящего газа. А мы с куратором уселись друг против друга за столом и вбирали тепло сипя-

щего чайника.

Разговаривать не хотелось. Уж точно не раньше, чем отогреемся. Поэтому в первые минуты просто наблюдали, как в непротопленной комнате становится явным любое движение тепла: пар поднимается из носика чайника, встаёт почти недвижимо над стенками чашек, едва заметно отделяется от наших губ и нарастает по мере того, как они то и дело прикасаются к нагретому металлу.

Горячий чай оказался кстати. Мы оживали на глазах и мало-помалу осваивались.

Куратору шел чайный румянец. Он и развеселился почти сразу, и пришёл в обычное состояние. О чем-то болтал с оживлением. А потом вдруг потянулся к карману, картинно хлопнув по лбу – дескать, совсем забыл! – и долго там рылся. Достал цветастый сверток и протянул мне.

– На, Андрюш. Небольшой сувенир.

Я взял в руки сверток – это была книга – и поблагодарил старика. Хотел сразу отложить в сторону – всё равно читать буду уже в одиночестве, – но старик настоял на том, чтобы я открыл сверток при нем.

Я разорвал упаковку и выудил на свет темно-синий томик. «Жизнь замечательных людей. Владимир Александрович Еремеев».

Уже не помню точно, было ли там про замечательных людей, но Его имя, конечно, было. Помню, удивился, что нет крупного портрета на обложке, хотя обычно в таких случа-

ях бывает. Куратор велел заглянуть внутрь. На второй или третьей странице отыскалась резная рамочка, под которой стояла подпись «родился» и ниже цифры: один-девять-пять-ноль. А вот фотографии не нашлось. Она была аккуратно вырезана, а в освободившееся окошко навешана моя фотография, распечатанная на простом листе черно-белой краской. С удивлением взглянул на куратора, на что он без заминки ответил, что я не должен обижаться на шутки, и что стоит мне прочесть хотя бы вкратце эту книгу, я должен буду – нет, просто обязан! – признать очевидное сходство Еремеева и себя. Я скорчил обидчивую гримасу, дескать, не очень в это верю. А он упорствовал, сказал, что да, у меня были тяжелые времена, но теперь-то я на правильном пути, и если продолжу начатое, добьюсь всего, что перечислено в книге.

Я пообещал, что ещё познакомлюсь с этим Еремеевым, а вот книжку отложил в сторону, сославшись на остывающий чай. Куратор отстал, видимо решив, что сможет расшевелить меня разговором за чашкой чая. Я знал, что он вот-вот меня покинет и мне не хотелось делиться ничем с человеком, который увезет все это неизвестно куда. Да, по-детски, но я чувствовал на это моральное право, а старик не особо-то и лез в душу.

Цедил помедленнее чай, но сначала он закончился в наших чашках; я несколько раз доливал себе и куратору из чайника. А потом закончилась и заварка. Я предложил заварить

свежей, но куратор поднялся на ноги.

– Спасибо, Андрей, мне уже пора. Давай-ка напоследок проведу короткий инструктаж и тогда поеду.

Прошел в угол, где стоял под покрывалом компьютер, и одним движением откинул полог. Это было грандиозно! Он только что открыл компьютерную технику и знакомил широкую публику с изобретением.

– Этот красавец достался мне с большим трудом, – рассказывал куратор не без гордости.

Я же мысленно шутил, что, конечно, с трудом – такой металлолом ещё поискать нужно.

– Главный рабочий инструмент, – продолжал он. – Сердце вахты, если хочешь.

А потом поправился:

– Ну, разумеется, сразу после твоего сердца.

Он улыбнулся своему остроумию и продолжил вводить в курс дела.

Компьютер не имел обратной связи с «материком». Это было сделано нарочно, чтобы у меня не было никаких соблазнов извне. Мне следовало вести дневник вахты в свободной форме.

Я был заправский полярник, с той лишь разницей, что цель вахты состояла не в моих наблюдениях за чем-то. Испытуемым был я сам. Записи подлежало все, что со мной творилось; или то, что считал нужным записывать. В выборе ма-

териала никто не ограничивал. А вот в обществе – да. Полная добровольная изоляции. Куратору казалось, что именно общество является главной препоной для творческого процесса. Если люди были одиноки, мир наполнился бы творческими людьми. А именно в творчестве, по все тому же кураторскому мнению, заключалось решение многих насущных проблем, стоящих перед человеком.

И моих в частности.

О том, что если бы проблемы были решены, то люди и не были бы одиноки, я предпочел не заикаться, дабы не нарушать стройность стариковской теории.

Распрощались прямо в доме. Он горячо пожал мне руку, а другой – вцепился в плечо, достававшее ему до переносицы. Получилась скупая версия объятий.

Я не захотел выходить на холод, пригревшись за столом. Он и не просил.

Раздался звук заводящегося мотора, а следом – тряский ход стариковского козлика.

Впервые с момента нашего знакомства я остался один.

#2

Перво-наперво решил озаботиться теплом.

В суматохе приезда даже не разглядел, что мне достался ещё один низкорослый домишко.

Этот второй сруб оказался баней. А к ее дальнему торцу примыкал огороженный с двух боков сарайчик с солидным запасом дров. Здесь же стоял генератор, о котором рассказывал куратор. От него и питался компьютер. Да ещё блеклая настольная лампа.

Несмотря на не самый внушительный вид, печь приняла первую закладку с неожиданной прожорливостью. Тяга оказалась хорошей, и пока я ползал у чугунной дверцы, щеки разгорячились от нагревающихся камней.

Прошло всего-то полчаса с отъезда куратора, но я уже смутно почувствовал себя хозяином. Не часто в старой жизни приходилось добывать такую мелочь, как тепло в доме. Тогда я ещё не знал, что тепло – никакая не мелочь. И что куратор так обустроит мой быт, что «мелочи» и останутся единственным доступным мне развлечением.

А пока я возился с печью, успел заметить, что на ней имелась даже конфорка для приготовления пищи. Я не смог отказать себе в удовольствии вскипятить воду на живом огне.

Новая чашка чая зашла на ура. Щеки полыхали, а в животе расплзлось приятное тепло. Но я не мог не испортить себе настроение, припомнив, как в такие минуты бесилась жена. Она никогда не могла найти себе должного применения и считала, что если человеку нечем заняться, то это только от того, что он не хочет ничем заниматься. И если ты, на свою беду, сидел без дела, то мог не сомневаться, что дело

тебе сейчас же выдумают.

Ещё не успел заступитъ, а уже сидишь без дела и гоняешь чай – примерно так прокомментировала бы она.

Меня с души воротило от этого ее «гоняешь чай».

По старой привычке я ненавидел всё, что было с ней связано: от имени и до отдельных словечек и черт. Видимо, в какой-то момент я чересчур увлекся и втемяшил себе в голову, что это ненависть. Хотя не имел, в общем-то, никакого на это права.

Старик довольно емко выразился – *тяжелые времена*.

Так себе времена, да. Я окончательно запутался и убедил себя в её виновности во всех смертных грехах.

Молния ударила, не иначе. Стал следить, допрашивать, подслушивать. Сейчас стыдно даже говорить об этом, а тогда казалось, что всё это делаю ради будущего семьи.

Но теперь-то прекрасно знаю, для кого всё затевалось!

Я загодя готовил побег, но в последний момент испугался. И возненавидел себя за нерешительность, боялся себя же, сбегал от себя самого – и даже сейчас не мог мысленно обращаться к собственному голосу, а вынужден был делать это посредством её образа.

Которому и нет никакого дела до меня и этой новой затеи с вахтой.

Тяжелые времена, да.

#3

Я лежал день и ночь на больничной койке и следил за теньями на потолке. Что угодно, только не возвращаться мыслями к боли, прибравшей в пользование мое тело.

Те ребята порядком меня оприходовали. Уж не знаю, как их угораздило оставить меня в живых. Сломаны обе руки, а еще три или четыре ребра. Медсестра вроде говорила, сколько точно, но я почти не слышал. Да ещё треснутые ребра рассчитались по обеим сторонам на торжественном смотре. Так что и тело болело целиком. Без сантиментов. А голову всё та же медсестра называла картофелиной.

Ей на мне хорошо шутилось; она не очень-то понимала, почему люди отворачиваются от ее отменных шуток.

Но лично я не обижался. И за исключением адской боли чувствовал себя королем. С утра до ночи пациенты валили ко мне на поклон – послушать интересную историю. Я лениво отшучивался; мной завладело то расположение духа, когда вдруг начинаешь сиять и всем пренебреженно нравиться.

Как-то пришла жена. По факту была тогда уже бывшей женой. Я никак не мог пристегнуть к ней эту присказку и упорно величал по-старому.

Держалась холодно. Даже тот факт, что пришла только теперь, лишний раз подчеркивал это. Уж наверняка ей обо всем разболтали давным-давно, и ведь, смотри-ка, сдержива-

лась.

Деловито меня осмотрела и заключила, что ещё слабо отделался. Я в ответ пошутил, что это не я отделался, а меня отделали. Она не оценила. Посмотрела взглядом, каким ещё никогда не смотрела. Ей было всё равно, окончательно и безвозвратно, – в тот вечер я это ясно понял. Она спросила:

– Зачем ты это сделал?

Я был готов к такому вопросу. Только взгляд, с которым спрашивала, прожег до затылка. Легко говорить, что ты к чему-то там готов, особенно, когда уже прошло много времени. А когда ты готов к пустословию, а на тебя вдруг обрушивается всем весом реальность взгляда – ты в беде.

Да, я сам налетел на тех ребят, – сказал, разве что не зевая. Хотел произвести впечатление, что ли. *А тебе-то, вообще, что за дело до этого?* – спросил. И тут же принялся за старое. Дескать, я где-то уже сломался, а ты запросто проскочила и сидишь теперь целехонькая. Мы вместе это городили, а расплачиваюсь один только я.

Был взбешен!

И как я только смел ругать её за то, что у меня ничего не вышло?! Что взялся за множество дел сразу, а когда стали выпадать из охапки одно за другим, не знал, за какую хворостинку хвататься. Хватался за работу – выпадала семья; подхватывал семью – вдруг вываливались на пол все мои устремления. Мы уперлись в тупик. Но я терпеть не мог

мысль, что ей удалось выкрутиться, а меня до сих пор крутило!

Оттого и выдумывал ее интрижки. Отрабатывал нелегкий писательский хлеб.

А потом просто вышел за сигаретами – черт бы их побрал – а там те ребята. Чересчур громкие и нахальные. Окрикнули, подшучивали чего-то. И я вдруг отчётливо припомнил себе: ведь не дрался с самого детства. Да и в детстве не умел толком за себя постоять!

Озарение схватило на полушаге, и я повернулся на пьяные голоса. Те шутники, конечно, не ожидали ничего такого. Засуетились. Особо ретивые скрылись с глаз. Нашлись и бойцы.

Тех, кто точно участвует, человека четыре. Остальные – массовка – свистеть и подначивать.

Мысли вдруг очистились от повседневной шелухи. Щелчок в мозгу – и я уже в полной боеготовности. Давно я не был так одухотворен: не драться, а иконы писать. Приятное ощущение. Даже брызнувший по венам адреналин не казался таким уж горячим. Сердце колотилось, конечно, но я чувствовал, что легко его обуздаю. И не останавливался.

Уж не помню, хорошо ли держался. Их было больше, и я быстро оказался на асфальте. Если бы решил отлежаться, всё бы закончилось, но я биться хотел, а не копошиться под чужими ногами.

А потом какой-то ухарь выбил остатки сознания. И тем напрочь похоронил томность вечера.

Жена дослушала меня с нескрываемым огорчением. Я преподнес историю на блюде, зная притом, что теперь точно отвернется. Это был ещё один «подарок» самому себе.

Она не ругалась. Выпрямилась готовой сорваться пружиной и засобиралась уходить.

Ты трус, Андрей!

Так она сказала на прощание.

Но что мне было это признание, когда сам я себя не то что трусом, а человеческим существом не считал.

А слова всё же имели огромную ценность – я разменивал их на ненависть. Только так мог мысленно с ней пререкаться. Загоняя собственное я куда поглубже.

Получилось и на этот раз.

#4

Вроде бы беспокойно прохаживался по комнате, но в один момент не выдержал и вышел.

Когда оказались с утра на месте, мне было безразлично всё сопутствовавшее приезду. Я не замечал надвигающихся сквозь окна стариковского джипа сначала неисчислимых

водных преград – мелких ручьев, речушек и озер. Потом – сменившего их бесконечного леса. Не непролазного, к какому мог бы привыкнуть дома, а свободного леса, практически без подлеска, где можно брести, пока не запнешься об мысль о бескрайности всякого хождения в этих древних лесах. Проигнорировал и конец пути, когда дорожка вынесла нас к широкому простору берега: впереди – водная гладь, упирающаяся в соседний остров по правую руку, а по левую – убегающая далеко вперед. Прерываемая только мелкими островками да косами.

Не видел и что, когда подъезжали, озеро ещё хранило спокойствие. А теперь морщилось и пенилось кое-где недружелюбными барашками.

День клонился за вторую половину, а ночь собиралась холодная.

Я подошел ближе к берегу и увидел, что он спускается к песчаному пляжу. Достаточно круто – пришлось ухватиться рукой за сосну, которая росла здесь последним бастионом леса. Вид и запах прозрачной воды охлаждал и подначивал вернуться в дом, укрыться поскорее в натопленном чреве и не выходить на воздух ни при каких обстоятельствах. Уж, по крайней мере, до утра.

Заранее предчувствуя каждый будущий вечер, я наверняка горько усмехнулся. Собрал мысленно доводы, приведшие сюда. Получалось вроде кубика Рубика. Но цвета никак не сходились, и я терял над ними власть. И собирал каждую спа-

сительную мысль по отдельности; им недоставало силы, но иногда удавалось извернуться так, что я уже не мог отрицать, по крайней мере, их количества.

И тем убеждал себя в их правоте.

Я влетел обратно в дом.

Лицо пылало. То ли от перемены температур, то ли меня бросило в жар одержимости. Печь порядком повыжгла в комнате кислорода, дышалось тяжело; ещё тяжелее было со спокойствием на комнату смотреть: взгляд кружился вихрем и выдергивал сподручные предметы быстрее, чем легкие ухватывали крупницы последнего воздуха. Должно быть, я выглядел в тот момент астматиком в поисках заветного ингалятора.

Но ни один предмет не мог бы мне сейчас помочь, кроме заклятой книги!

Она лежала себе на стариковском табурете, сливаясь с облупленной синей краской. Я отвёл взгляд, заранее понимая, что не смогу этого сделать. Книга всё равно оказалась бы в руках; и я принялся перелистывать страницы.

Никакая информация в голове надолго не застревала, и я несся неуправляемым потоком сквозь подноготную неизвестного мне человека.

Слишком быстро.

Еремеев родился, рос, ходил в школу, поступил в инсти-

тут. Всё заурядно.

Но сердце отдал творчеству.

Зрелый этап, по которому мы отличаем писателя Владимира Александровича Еремеева (далее – В. А. – прим. автора), наступил довольно рано – ещё на скамье литературного института вокруг него образовалось писательское сообщество молодых дарований. Среди которых находился и ваш покорный слуга.

Я взглянул на обложку и, кажется, впервые прочел имя автора. Золотым тиснением, куда более нарядным, чем шрифт заглавия, значился некий Г. И. Бахрин. Который теперь беззастенчиво продолжал нагнетать пафос в скучное повествование.

По признанию самого Еремеева, именно соперничество с поэтом и прозаиком Бахриным определило эстетику В. А. в первые годы творчества. Сказать по правде, мы отставали точки зрения на процесс, близкие к противоположным, и равновесие в споре смещалось то в одну, то в другую сторону. В конечном итоге золотая середина отыскалась: мы оба сочли, что творчество хорошо уже тем, что совмещает противоположности. Мы ухватились за этот постулат, и завязалась тесная дружба, которая вдохновляет нас и поныне.

Эти официозные строки закрывали повествование о творческом становлении Еремеева. Со страниц разлило неискренностью – было сложно поверить, что они написаны близким другом.

Впрочем, дальнейшее повествование немного расшевелилось, когда на горизонте появилась девушка.

«Будущая жена Еремеева – Полина – из тех, кого принято называть «гадкими утятами». Честно говоря, не вижу в ней ничего приметного. Всегда неподалеку, готова помочь. Кажется, была старостой группы В. А. и по кругу обязанностей всегда в курсе происходящего.

А вот пообщавшись с ней, каждый понимал, что никаких обязанностей нет. Что забота и внимание, с которыми Полина относилась к одноклассникам, шло от чистого сердца.

И всё переворачивалось с ног на голову: ты становился в хвост очереди ожидающих, кому такое сокровище достанется».

Привожу запись из личного дневника. Озарение, пришедшее в один момент в голову. Как видите, был и у меня период влюблённости в будущую жену Еремеева. Но я очень рад, что именно мне довелось поучаствовать в рождении столь замечательной пары и тем сделать счастливыми их обоих.

Я чуть было в голос не рассмеялся – настолько нелепо ав-

тор укрывал истинные чувства.

Вот ведь купидон этот Бахрин. И какой благородный!

Заочно я уже недолюбливал этого типа и потому дальнейший поток примирительной белиберды просто-напросто опустил, переворачивая наугад страницы.

И случайно зацепился взглядом за новый любопытный кусок.

По понятным причинам, Еремеева неохотно допускали до официальных публикаций. Это если смягчать официальные формулировки и игнорировать количество отказов. Справедливости ради, стоит отметить, что какие-никакие публикации всё же были. Только нейтральные вещи – не передающие истинных мотивов творчества В. А.

На тот момент я и сам столкнулся с первыми отказами. Разосланные рукописи возвращались, и я, признаться, утратил былой энтузиазм.

Тогда-то и родилась идея организовать издательство.

Помимо нас с Еремеевым, высказались «за» ещё несколько ребят. Правда, уже в процессе все самоустранились. Такое было время: организовать частное издательство – немыслимое дельце. Спасибо ещё, что нас с В. А. не самоустранили комплектом.

Однако всё обошлось.

А эту часть истории я, конечно, знал. Затёрлись имена и

фамилии, зато факт основания «Литеры» засел в памяти навеки. В контексте отечественного книгоиздания событие, и правда, было не шуточное!

Поначалу портфель издательства, если можно так выразиться, составляли наши же произведения. Да ещё нескольких ближайших друзей. Основным автором, конечно же, стал Еремеев, успевший уже тогда заработать имя немногочисленными официальными публикациями и несколькими десятками самиздатовских текстов, разошедшихся по рукам. Их тираж невозможно уже сосчитать, но огласку они обеспечили.

В. А. был локомотивом, набирающим ход; а мы с удовольствием следовали за ним.

Правда, ему быстро наскучила организационная часть. Только творчество. «Истинное творчество», как В. А. его называл. А все насущные вопросы издательства оказались на куда более приземлённом Бахрине.

Я, было, наострил уши. Рассчитывал, что отсюда и начнется настоящая история Еремеева. Меня всегда интересовали люди, способные сделать в жизни непростой выбор. Отказаться от сиюминутного в пользу вечного, истинного.

Но оказалось, «приземлённому» автору это было не слишком занятно. Бахрин то и дело терял интерес, и в паузах доносил что-то своё, «сермяжное».

Начал мельчить и давать факты биографии неясными штрихами, будто в один момент потерял связь со старым другом. Однако не подавал в этом вида и продолжал линию «дружбы сквозь годы».

Пока Еремеев вдруг не исчез.

Совсем ненадолго: через какое-то время снова появился в поле зрения Бахрина, будучи теперь оторванным от мира отшельником. От него отказался сын, жена давно умерла. Автор не выказывал особого интереса, зато бил увесисто в грудь, уверяя, что Еремеев выстоит. Что вот-вот представит миру новое творение. Что В. А. переосмыслит творчество и начнёт с чистого листа, а «родная» Литера, которую он когда-то оставил, «примет любую рукопись с распостёртыми объятиями».

На этом повествование обрывалось, то ли предваряя рекламную кампанию новой еремеевской книги, то ли подготавливая почву для собрания сочинений писателя. Образ Еремеева отныне принадлежал не только ему самому, а всем, мимо кого Еремееву довелось шагать на жизненном пути.

Сам того не желая, Бахрин сумел напоследок создать живой образ. Посреди слепых ласк и печатных страниц нашлось место и для живого человека.

Мне захотелось познакомиться с ним ближе.

Когда снова взял книгу, приходилось зарываться в опилки на устроенном Бахриным лесоповале. Вычленял то настоящее, что составляло Еремеева. Именно в нём и должна была отыскаться похожесть между нами, о которой упоминал куратор.

Это-то и мешало. В голове намертво застряли слова. Всё равно, что читать книгу, когда заранее знаешь сюжет. Уже не читаешь, а только выискиваешь острые моменты.

Невозможно сосредоточиться.

О первом сходстве уже упоминал: наши семьи.

Жена Еремеева умерла от болезни. Я свою вычеркнул из жизни сам.

Но это личное. Сомневаюсь, что именно это интересовало куратора. Вряд ли он запер меня здесь, чтобы разрешить семейные трудности.

А вот во втором мы точно были похожи.

По скудным описаниям Бахрина и, даже в большей степени, по отсутствующей в его распоряжении информации, Еремеев походил на фанатика. Сумел продвинуться куда дальше меня. Не было никаких сомнений, что В. А. превратил творческий путь в особого рода служение.

К слову, это стало причиной окончательного разлада Еремеева с сыном, который не мог мириться с добровольным изгнанием отца. Моего же – отняла при разводе жена.

Исподволь я замечал, что и Бахрин скептически настроен по отношению к Полине Еремеевой. Делил В. А. между ней и творчеством, пытаясь разорвать их связь прямо на страницах биографии.

Нас с Викой и делить-то не нужно было. Мы не совпадали во взглядах на творчество. Я воспринимал его чересчур серьезно, а она обеспечивала необходимым семью.

Это жутко нервировало. Я верещал и лез в перепалки. В доме летали шаровые молнии, и это, признаться, даже заводило. На такое подсаживаешься быстрее, чем на сигареты, уж поверьте! Драма, которая всегда с тобой. Пока не разбираешься вдребезги о скуку.

Вике надоело каждый день разыгрывать один и тот же спектакль, и она успокоилась. А я по-прежнему вызывал огонь на себя. И раздражал ведь этим – точно знал – но она уже не реагировала.

Говорят, противоположности притягиваются. А мы просто ломали друг другу жизни с противоположных позиций.

Ещё болтают о «целебных ссорах», – и здесь мимо.

А вот чего не хватало, – так это терпения и выдержки.

Вика тоже порядком устала.

Когда не вернулся к ужину, небось, даже вздохнула с облегчением.

И выписала из жизни, подав на развод.

Сашка остался с ней.

Да где ж возьмешь выдержку, когда твоя профессия – быть несдержанным и не скрывать эмоций.

Стоило бы поучиться у Еремеева. Он каким-то образом соблюдал баланс: и оставался долгое время примерным семьянином, и добился успеха в творчестве.

Рядом с ним я казался ничтожеством. Уже и думать забыл о якобы имеющемся сходстве. Его характер и личность всецело заняли мысли. Казалось, что и я каким-то образом завишу от разгадки тайны этого человека.

Я закрывал книгу. Открывал первую страницу и внимательно всматривался в фотографию. Кажется, она пришлась впору.

Пусть и странным образом, моё честолюбие угомонилось.

#6

Каждое утро теперь начиналось одинаково. Сказать по правде, это мало меня беспокоило. Я чересчур долго шел к отсутствию необходимости бороться с собой за каждое утро. И отныне заново учился ценить это время суток.

К утру дом выстывал, по углам и у стен обживался холодок. Войлок усел от времени, и бревна, какими бы монолитными не смотрелись с улицы, представлялись моей спине решетом.

Скидывал ноги с кровати и попадал в царство зимы. Бо-

ясь подумать, что будет, когда зима соберётся по-настоящему, прятал ступни в чуни и полз ставить чайник. А пока он запевал осипшим голосом трели, оставалось несколько минут, чтобы протопить печь.

Я нарезал топориком щепу. Здесь почти не было лиственных деревьев, а те которые все-таки находились, редко попадали ко мне в виде дров. Поэтому в доме всегда стоял запах сосновой смолы и дыма. Огонь обычно бывал с утра прожорлив, и не отнимал много времени. Впрочем, я никуда и не спешил: это было приятное времяпрепровождение. Ничего общего с мытьем посуды в холодной воде.

Но это будет много позже, а сейчас я брал в руки книгу и перечитывал любимые фрагменты.

Никакой новой информации я получить не мог. Поэтому знал историю Еремеева уже наизусть и мог часами с ним разговаривать, выдавая внутренний голос за голос незнакомого писателя *с материка*.

Теперь уже без кавычек я называл так оставшийся вдалеке мир, ощущая себя членом одиночной экспедиции за край света.

Если вы впечатлительная натура, прекрасно меня поймете!

Да и сами, наверное, замечали, как легко принимаете печатное слово на веру, когда оно вступает в реакцию с мыслями.

Тогда представьте человека, обречённого самим собою же на крайнее одиночество. На его месте любой бы соизмерял жизнь с историей жизни чужой. Будь та книга единственной.

То есть я *на самом деле* разговаривал с *ним* часами, сидя за кухонным столом. Думаю, это холод играл со мной злую шутку. Потому что в остальное время я мог совершенно спокойно обходиться без Еремеева. Занимаясь делами по хозяйству. Или отправляясь на пешие прогулки.

А по утрам так не хватало человеческого присутствия, что горевал по оставшимся далеко позади, по куратору. В конце концов, по себе, потерявшемуся много-много раньше.

Холод и одиночество.

Вот то небольшое, что я припоминаю от первых дней.

#7

Ещё повинность.

В ней и заключалась суть вахты.

Куратору было интересно узнать, как будет реагировать в определённых условиях человек, скажем так, испытывающий жажду к творчеству. Не знаю, чего он хотел добиться, я-то себя таковым уже давно не считал. Да, когда-то эта чушь плотно засела в мозгу, согреваемая честолюбием. Приобрела форму мании, от которой я прятался и поныне. Куратор же уверял, что единственным шансом на примирение с собой и являлось творчество. Только лишённое субъективно-

го, созерцательного. Навязанное, если угодно. Не наивной рефлексией, а укладом жизни, ситуацией.

Ему грезилось, что окажись я в добровольном изгнании, без информации и внешних раздражителей, начну строчить слова. Вновь смазанный автомат. Никакой связанности. Такой задачи не ставилось. Только не мемуары и напыщенные романы! Это бы говорило о связи с информационным потоком, что несут на себе, как насекомые пыльцу, люди.

Я должен был вбивать ежедневный отчёт о прожитом дне. А в какой форме – совершенно не важно.

Для этого и пылился в углу допотопный компьютер. Он и рабочая лампа были единственными потребителями электроэнергии, поступающей от бензинового генератора. Да я уже и упоминал об этом.

По вечерам (раньше наступления темноты я и на метр не приближался к этой бандуре!) заводил мотор и усаживался за работу.

Глаза отвыкали за день от электрического света, поэтому экранный лист казался куда белее, чем бумажные собратья. Да ещё за окном грохотал в сарае двигатель, не давая сосредоточиться!

Так что в первые дни я мог просидеть и час, и два, не подав на экран и символа. Выкручивало изнутри. Да к тому же я всё не мог преодолеть установку писать только членораздельное, выстроенное в рамках логики; не мог отклониться от спасительных берегов. И оттого надоумил себя, что луч-

ше уж не написать совсем ничего, чем выталкивать бредни больного напрочь рассудка.

А в тяжелой его болезни я тогда не сомневался.

Еремеев выручил и здесь.

В какой-то момент я распространил наши разговоры и на работу.

Спросил себя, а что бы написал *он*, имея под рукой столь сомнительного собеседника?

Льстило, что разговариваем на равных. Ведь и я был для него вымышленным персонажем.

Прислушивался и записывал каждое приходящее ему – а значит, и мне – слово. Еремеев открывался с большой охотой. Казалось, между нами и не может быть никаких секретов. В отличие от автора биографии.

Скоро выяснилось, что она была самым наглым образом причёсана автором. Политкорректность, с которой Бахрин описывал те события, совсем не подходила образу Еремеева. Тот никогда не мог быть столь пресным.

Чем больше узнавал, тем больше в этом убеждался.

Отчаявшись выжать хоть лист текста про себя самого, выписывал всё, что цепляло внимание в нём. Выходило настоящее досье! Набирал короткие заметки и укладывал в папку, чтобы в любой момент иметь возможность сопоставить факты и сделать правильный вывод.

И уже не отсрочивал правдами и неправдами вечерний сеанс, а, напротив, ждал со странным нетерпением. Папка, озаглавленная «Еремеев», пухла и раздавалась.

Время пролетало мимо, ни за что не цепляясь и не задерживаясь ни на одну лишнюю секунду. Всё происходящее за пределами линий, выстроившихся от глаз к экрану и от экрана к рукам, нависшим над клавиатурой, потеряло значение. Я ничего вокруг не замечал, отдался делу без остатка.

В один из вечеров увлечённо работал. Всё вдруг изменилось. Что-то непостижимое вторглось извне. Выходящее за рамки очерченного треугольника. Нечто из обыкновенной жизни, мешавшее той старой оболочке.

Я поёжился от холода.

Мысль о нём и прорвала защитный кордон.

Оказывается, я настолько увлёкся, что забыл затопить печь. Посмотрел в окно. Должно быть, с той стороны стекла я выглядел сейчас комично. Не знаю. Глаза ни черта уже не видели, оказавшись между сном и явью.

Кажется, было черным-черно. Если бы я мог довериться зрению.

Встал из-за стола и завозился с дровами.

Только через полчаса или около того подползавший из окон и дверных щелей холод отпрянул, подгоняемый жаром печки.

Переход между прохладой и теплом я терпеть не мог. Одновременно и жарко, и холодно, а в дрожь бросает от обоих ощущений. Невозможно сосредоточиться на работе.

Взял с кровати покрывало и, закутавшись, вновь устроился за столом. Очень устал, но нескончаемая гонка мыслей и отстающих на долю секунды пальцев всё ещё удерживала, и я не хотел упускать момент.

Протянул руки и понял, что момент *уже* упущен. И снова оказался на перепутье миров. Только теперь отыгрывал своё мир реальный: согревал, укутывал, не оставляя преград для усталости.

Я проваливался в сон. Сначала отчётливо это состояние представлял, мог кивнуть головой, если бы кто спросил; раз за разом возвращался урывками к этой мысли и не всегда мог вспомнить момент её появления; а потом и вовсе превшел к состоянию автмтизма и когда пднил глву крну тльк бался чо пл с рбтми рка мы

#8

Странное ощущение. Я подглядывал с закрытыми глазами.

Сначала накатывала темнота; последний оттиск увиденного опадал и отдалялся. Веки топорщились непроглядной кулисой из старого театра. Только что видел людей и мог потянуться к ним, нащупать всех на местах; но сзади уже на-

двигалась мысль: а что если их там не окажется, что если за короткий миг между светом и темнотой колода декораций перемешалась? Вдруг это была не колода, а слайды аппарата, что составляет фоторобота, – и раз потеряв нить, уже не вытянешь исходную комбинацию.

Именно таким образом всё и происходит: свет, за ним неотрывно – темнота, а уже темноту сменяет крошечная пустота незнания и неощущения.

В таком состоянии запросто можно застрять. Ничегошеньки не видишь; единственные ориентиры – полуистершиеся образы, да звуки, которые неожиданно раздаются со всех сторон. Это прорывается снаружи новая реальность.

В руку просачивается рука. Поводырь. Если повезло обзавестись здесь таким.

Впервые почувствовал на ощупь кожу Еремеева. Рука даже излишне гладкая. Пожатие приятное, но, в то же время, сбивающее с толку. Не мог бы ничего сказать о нём, сама мысль оказалась столь же скользкой, что и ладонь.

Но я крепко вцепился и тут же понял, что пустота рассеивается, идя по обратному пути к новому свету.

Ещё мгновение и снова оказался один.

Но уже где-то.

Дачный поселок, протянувшийся на километры тонкой линией дороги. По обеим сторонам разномастные заборы, за которыми – припрятанные от глаз дома. На ограды ещё хва-

тало мысли, но дома выплывали из тумана и сами клубились им, не имея очерченной формы.

Пошел прямо, ища поворота, который должен непременно подвести на шаг ближе. Через несколько участков показался нужный забор. Я узнал, что именно он – нужный – по раскрытым настежь воротам. Поравнялся с ними и в последний момент увидел за углом дома спину.

Человека рассмотреть не успел. Пошел отчего-то следом. И почти не смотрел по сторонам. Всё вокруг повисло в той же серой хмари. Когда её разгонял – если получалось сконцентрироваться – на место незнакомых очертаний встраивались привычные картинки, понадерганные откуда попало. И сразу после начинало мутить, всё снова расползлось.

Отшатнулся и побрел по каменной дорожке впритирку с домом.

За углом – крыльцо; вверх по лестнице – входная дверь. Едва прикрыта. Я вошёл. Веранда. Периметр застеклен, и, даже несмотря на развешанные по окнам шторы, очень светло. Правда, мутноватый свет не давал нужного ощущения. Казалось, комната вырвана из другого пространства и подвешена только в моём воображении. А чтобы не дай бог я не испугался такого положения дел, какие-то умники выдумали светить в окна приглушенными белыми фонарями.

Донеслись голоса. Направо увидел распахнутую дверь. Там переговаривались. Даже, скорее, гудели, нежели обменивались чем-то похожим на речь.

Подошел ближе и оказался на кухне. Под левым боком столяр же монотонно гудел холодильник, а за столом два силуэта спорили между собой. Я вглядывался в них и одновременно слушал. Что-то отвлекало, никак не давало сосредоточиться.

Поискал источник «помех» и среди цельности картинки разглядел малюсенькую ячейку, которая к ней не подходила. Глазок на стене за говорившими. Подошел вплотную, но, разумеется, никто из силуэтов не обратил на меня никакого внимания. И буквально упёрся взглядом в стену. Увидел торчащий беломом кусок обоев с совершенно другим рисунком. Он показался смутно знакомым. Я уже точно видел его раньше; и не раз. И чем дальше всматривался, тем заметнее становилось различие. Оно выпирало из стены. И через несколько секунд начало казаться, что это не статичная пядь пространства, а оторвавшийся от стены кусок. Который свисал теперь вниз унылым лоскутом.

Не обращая внимания на говорящих, ухватился пальцами за уголок и потянул. Под рукой потрескивал старый клей, и уголок оторвался широкой полосой, а под ним обнаружилась другая полоса – окрашенной стены. Тоже неровной. От неё отколупнулся кусочек краски и торчал неопрятным заусенцем. Я поддел пальцем и снял целый кусок, под которым дождались плохо подогаанные друг к другу доски.

Меня порядком это напугало, но я не мог проснуться.

С этого момента осознавал, что нахожусь во сне. Одновре-

менно и боялся, и находил успокоение в том, что это сон, и что стоит мне чересчур напугаться, сработает мозговой стоп-кран, я закричу, вспотею – или что-то ещё такое – и очнусь... А вот здесь всё обрывалось; я не знал, где проснусь. И в каком из слоев неправдоподобной картинки застрял ссохшимся обойным клеем.

Я запаниковал и дернул доску, подсунув под неё пальцы. Не рассчитал силы и отскок доски. Чуть было не зашиб ближайший к дыре силуэт. Вместо удара доска прошла насквозь и сорвала порядочный кусок с его обличья. Прямо по груди пролегла полоса свитера, который я носил в десятом классе. Прекрасно помню расцветку, потому что в один из тех дней-то состоялась школьная съемка, и свитер навсегда остался на фотографии класса.

Мгновением позже пришло воспоминание совсем из детства. Бабушкин книжный шкаф и подобранные под цвет полки. Они висели одна над другой, а между оставалась узкая полоска рисунка. Ещё раз взглянув на проделанную дыру в стене, я признал в обоях, торчащих по краям, те самые.

Подумал, что во сне куда меньше смысла, чем могло сразу показаться. Выходило, что его наполнение – лишь проекция увиденного когда-то.

И как же, в таком случае, я мог подслушать разговор, если даже собеседников представлял размытыми силуэтами?!

Однако что-то подсказывало, что мне удастся расшифро-

вать послание. Что оно и адресовано мне, а значит, может быть передано.

Настроился. Не сводил глаз с фигур. Позволил себе выждать достаточное время. Откуда-то пришла уверенность, что не пропущу ни слова. Стоит сосредоточиться, и разговор начнется с нужной точки.

Глядел, не моргая, и вдруг силуэты начали изменяться. Настраивался на образ – и фигура приобретала конкретные черты, пусть даже и сочетавшие знакомые ранее. И в ту же секунду голоса становились чуть понятнее. Казалось, кручу тумблер приемника, настраиваясь на частоту.

Когда голоса пробились отчётливо, я подслушал разговор целиком. Кажется, так он звучал:

– Тебе нужно только подъехать, а мы с Б., – голос подскочил, и я не расслышал названную фамилию, – подготовим документы.

Голос то становился старше, то моложе; превращался из мужского в женский, и наоборот. Пока, наконец, не стал голосом мужчины средних лет. Таким я представлял себе Еремеева. Пока не откликнулся второй собеседник.

Ответивший голос показался смутно знакомым. Принадлежал человеку постарше, старику, но оставался очень живым, напитанным силой.

– Уже слышал всё это, сын! Не хочу иметь ничего общего с

Б., – опять эта фамилия, которую невозможно расслышать. – И тем, во что он, – старик споткнулся на полуслове, удерживая подступившее к губам «вы», – превратил издательство.

Тот, кого назвали сыном, откинулся на спинку стула и вздохнул. Очень театрально, чтобы подчеркнуть, как тяжело даётся ему этот спор. Сидел, разбросавши колени; хотел одного – уйти, но, по-видимому, не мог, не окончив разговор. И поэтому раз за разом возвращался в эту точку.

– Какой же ты упрямый! Сколько раз я протягивал руку, а ты всё бьёшь по ней. Неужели так нравится оставаться вдали от дел? Ты же прозябаешь в неизвестности, отец!

– Это о какой ты там неизвестности всё толкуешь? – Со смешком в голосе ответил Еремеев. – Разве это не я создал всё то, на чём вы с Б. живя, меня же и попрекаете?

Сын не выдержал насмешки и вскочил со стула. Отец даже головы не повернул в его сторону.

– Опять ты за своё! Сколько я уже времени потратил, а ты всё твердишь: Еремеев, Еремеев, Еремеев.

– Да, да. А вы с этой фамилии до сих пор кормитесь, – напомнил он сыну.

– Ладно, это выше моих сил. В конце концов, у нас полное право подписывать в портфель, кого захотим. А Юдин – настоящее открытие. Наш шанс!

Еремеев-младший подошел было ко мне, и я невольно отшатнулся. Но тут же вспомнил об оставленных вещах и вернулся к столу.

Только теперь отец соизволил взглянуть на сына.

– Не знаю, гордилась бы мать... Или твой теперешний вид вверг бы её в уныние?

Он рассуждал вслух и если бы не смотрел сейчас на сына, я бы подумал, что Еремеев говорит сам с собой.

– Наверное, всё-таки гордость. Она всегда была к тебе благосклонна.

Когда он проговорил это, я вдруг увидел, что его силуэт заплывает, заволакивается. Делается размазанным, едва различимым. На секунду передо мной предстал слепок совсем с другого человека.

Он сказал это специально. Не считал так на самом деле. Я это почувствовал.

И мне захотелось крикнуть об этом сыну. Я подбежал, уже находился прямо над ним. Он был пониже ростом, можно было наклониться над самым ухом и прокричать нужные слова.

Секундное наваждение.

Еремеев-младший не слышал. Все крики оказались тщетны. Почувствовал себя беспомощным духом, загнанным в прозрачную колбу. За земные грехи я был проклят смотреть и слушать.

Реакция проявилась незамедлительно. Еремеев-младший вернул на место поднятый портфель и ухватился руками за

спинку стула. Его плечи передернуло, силуэт вздрогнул. И от меня это не укрылось.

Он вдруг оттолкнулся руками и на излёте движения настиг одним шагом отца. Склонился над ним и протянул руку. Она зависла у отцовского плеча. Силуэт туманился и клубился серыми нитями; но было ясно, что она сжата в кулак и вот-вот сорвётся.

Еремеев-старший не реагировал. Сидел не шелохнувшись. Не давал повода – и тем делал положение сына смехотворным. Тот обмяк, запрятал руку в карман и отступил.

Спросил бесцветным голосом:

– Откуда ты можешь знать? Всё равно ведь никого не слушаешь. Как и тогда.

– Я уже говорил тебе много раз: ты ошибаешься! Это было только её решение.

– Нет! – Крикнул Еремеев-младший, снова выходя из равновесия.

Крик разнёсся в тишине видения резко и остро. Как нож. Фрагмент качнулся и чуть было не выскользнул из моего сознания. Стоило больших усилий удержаться на месте.

А сын всё кричал. Словно выдернуло из раковины пробку.

– Не смей так говорить! Это ты погубил её! Одно слово, и она отправилась бы хоть на край света. А ты захотел оставить её при себе. Она была вещью. Хуже, чем секретарша! Не стоила и кончиков пальцев великого Еремеева.

Слова опали в воздухе подброшенным ворохом ли-

стве. В замедленной съемке я мог рассмотреть каждое. Кажется, мы столкнулись взглядами с Еремеевым-младшим, который вроде бы даже наслаждался произведенным эффектом. И не заметили, как отец вскочил со стула, – вот так прыть для старика! – и отвесил сыну смачную пощечину тыльной стороной ладони.

– А ну заткнись! – Зарычал он.

Приглушённо, тихо. В отличие от сына ему не пришлось даже повышать голос. К нему примешалась чистая сталь. И сын, вероятно, помнящий ещё детские годы, моментально смолк.

– Ладно, в этом мы с тобой никогда не сойдёмся, – спокойно продолжил отец.

Ни одышки, ни сожаления, – только уверенность в правоте, которая передавалась прямо по воздуху.

Сын стоял с опущенными плечами. Похожий на школьника, вернувшегося с плохими отметками. Готов расплакаться от обиды, и я чувствовал, что отец очень бы этого хотел. Не чтобы позлорадствовать; а чтобы обнять сына, утешить. Ещё раз всё объяснить.

Но возникшая пауза затянулась и должна была чем-то заполниться. Еремеев не своим голосом проговорил:

– В одном я хочу, чтобы ты не сомневался: мать никогда бы не позволила то, что вы творите.

Разговор был окончен.

Еремеев-младший вновь взялся за портфель. И уже в две-

рях сказал:

– Издательство будет и дальше существовать, с тобой или без. Мы продолжим, а ты можешь и дальше ото всех прятаться.

Он вышел, оставив отца в одиночестве.

– Мы. – Хмыкнул Еремеев в пустоту комнаты. – Тоже мне, мы.

#9

В пустоте комнаты это выбравшееся за пределы сна «мы» всё ещё звенело сорвавшейся струной.

За окном светало. В комнате было очень тепло. Я приходил в себя, сидя в кресле. Во сне раскутался: покрывало свисало со спинки и подлокотников, а я сидел в обычной одежде. Этак с утра решил поработать.

Тело, разумеется, ныло. И чего только не лег в кровать?

Вспомнил о вечерней работе. Монитор отключился, пришлось пошевелить мышкой, чтобы вернуть в рабочее состояние. На экране отобразился документ, над которым работал, прежде чем заснуть.

Последняя строчка растянулась невнятным набором символов. Я улыбнулся, представляя, как засыпаю с двигающимися ещё руками. Добрался взглядом до конца строчки и прочёл всё то же «мы».

Разумеется, совпадение. Я улыбнулся.

Простое совпадение.

Уже вслух. Хотел, чтоб прозвучало навроде защитного заклинания. В тот момент мной завладело странное ощущение. Я действительно почувствовал, что в комнате есть кто-то, кроме меня. Именно ему я и адресовал эту фразу. Давая понять нам обоим, что нахожусь пока что в своём уме. Что на меня не стоит растрачивать шуточки.

Не знаю, почему так поступил. Но вроде бы успокоился.

Каких-то пять минут на приведение себя в нормальное состояние, и я уже возился с завтраком.

Печь до сих пор оставалась горячей.

#10

Ладно, по крайней мере наметившаяся между мной и Еремеевым связь не вредила. После того странного сна скрепили друг с другом некий договор. Я обязался слушать, Еремеев – говорить без утайки.

Как-то само собой вышло, что автор биографии стал передатчиком, нашим общим инструментом. Читая тот или иной фрагмент его книги, я мог выносить и собственные суждения. Причем, ни на секунду уже не сомневался в их правильности.

Крутил скупые факты, имеющиеся в распоряжении, и неведомым образом открывал новые и новые подробности. Мне удалось выяснить многое из того, что в книге осталось либо совсем без внимания, либо удостоилось поверхностно-

го интереса.

К примеру, жена Еремеева. Когда она умерла, сын винил отца в трагедии. Дескать, у него была возможность вывезти жену в престижную клинику. *Однако, очевидно, что нежелание матери отправляться на операционный стол за границу, было продиктовано волей самой Полины, которая не хотела, чтобы Еремеев оставлял работу, прославлявшую их обоих.*

Еремеев молчал. То ли соглашался с выводом, то ли ему не было дела до этих подробностей.

Исполненный уверенности я двинулся дальше и пришёл к выводу, что, возможно, *у Еремеева к тому моменту появилась кто-то на стороне, и единственным выходом для себя он видел именно эту связь. И не мог надолго переезжать.*

Господи, да почему же везде мерещатся супружеские измены? Я одернул мысли и вернулся к прежнему руслу. Но раз за разом растекался по сторонам, вылепляя из истории Еремеева что-то похожее на собственную историю.

Делая новый вывод, прислушивался к внутреннему ощущению, а ответом всё чаще была тишина. Еремееву не было никакого интереса в моей возне. И тогда я принимался за дело с удвоенной энергией.

Получил отпущение...

Продираясь сквозь дебри материала, выдумывая попутно половину, вдруг столкнулся с фамилией Юдин. Егор Юдин.

Я же слышал о нём раньше. Озарение походило на пропущенный удар в голову.

Сдуру ухватился за второстепенные линии. Предпочёл довольствоваться малым, хотя Еремеев уже указал верный путь. Мне бы только барахтаться вокруг интересного лично для меня – разрыва Еремеева с сыном. А причина разрыва так и осталась зашифрована.

И вдруг знакомая фамилия.

Я же слышал эту историю раньше!

«Литера» – издательство, основанное Еремеевым, подбирало издательский портфель, ориентируясь на маститых авторов. Непреложный закон, пока Еремеев оставался в силе. Но когда у издательства начались финансовые проблемы, Еремеева оттеснили.

Чтобы не разориться, в «Литеру» приманили Егора Юдина – восходящую литературную звезду. Молодой да ранний писатель, успевший прогреметь эпатажной книжонкой и столь же вызывающим поведением.

Выходит, именно этому решению противился Еремеев.

Юдин меня не интересовал. А вот ссора отца с сыном наполнялась красками и становилась куда более понятной. Сын совместно с компаньоном отца пытались выжать Еремеева из издательства. А компаньона звали...

Поддавшись озарению, я захлопнул книгу и увидел на обложке фамилию автора – Бахрин.

Старый друг Бахрин. Настолько неубедительный, что фамилия всякий раз выпадала из поля зрения. А ведь именно он основал с Еремеевым издательство.

Я листал книгу, пытаюсь теперь выудить информацию о Юдине. Но ничего не мог отыскать. *В книге не упоминалась эта фамилия!* Через меня проходили две реальности, перетекавшие одна в другую. И я отыскивал осколки каждой в каждой.

Но как в действительности поверить, что могу черпать подробности чужой жизни прямо из воздуха?!

Я защищался. Выискивал в памяти любые упоминания появившейся из ниоткуда фамилии. Наверное, даже нашел кого-то. Смутное представление о каком-то приятеле или знакомом знакомого, которого когда-то встречал. Во всяком случае, это лучше, чем мысль, что посторонний человек транслирует через меня свою жизнь.

Я рассмеялся шальной мыслью.

Это никуда не годилось.

Напротив! Это я был здесь летописцем, Я!

Это я своим вторжением заставил Еремеева пересмотреть старые связи. Я был скульптором, ваявшим нового человека из глины. Однако каждый раз, когда приходилось отпускать

голема и прощаться до следующего сеанса, не мог не открыть книгу на первой странице. И там видел черно-белое лицо. Лицо, которое когда-то было моим.

И меня осеняло.

На считанные мгновения удавалось выйти из гипнотической связи, и я видел происходящее со стороны. Компьютер бывал уже тогда выключен, но я запросто восстанавливал по памяти ячейки картотеки, перебирал каждый написанный лист. Иногда казалось, что тот или иной штрих взят целиком от меня, правдивый и точный; а временами давило изнутри смехом от глупейшего несоответствия. От того, что сделал из Еремеева тряпичную куклу. И нет, не старался воспроизвести себя. По крайней мере, не было глубинного позыва, а было только желание вдоволь посмеяться над собой. Сделать саму цель вахты недостойной шуткой, детской шалостью.

Выносил приговор. И приводил в исполнение в зале суда.

Да уж, вволю над собой поиздевался. Думал, тем самым выбью любое сопротивление.

И раньше приходилось участвовать в травле. *Когда не можешь остановиться.* Жертва нелепо смеется, выдавая происходящее за недоразумение, шутку. *Такая защитная реакция.* Но коль скоро найдёт силы поднять глаза, увидит, что никакой ошибки нет. Присутствующие именно это и имеют в виду. Ситуация становится непоправима. Пока отвечаешь, так и будут травить – сильнее, сильнее... Только когда дохо-

дишь до конечной точки, – срываешься, демонстрируя толпе слёзы или визгливый гнев слабого, только тогда лопаётся невидимая тетива. Одним перестаёшь быть интересной жертвой; немногочисленным другим порванная веревка хлещет по щекам и заставляет поменяться с тобой местами. Они уже бегут за тобой с извинениями... Тем страшнее, что сам ты не стал лучше, и выходит, что унижавший унижается перед униженным. И от этого только хуже, это тянет на дно обоих.

В одно утро тот – слабый – не появился с утра, когда я умывался перед зеркалом. Он отделился от меня, отделался. Не было больше утра. Мы перетекали без очерченных границ из одного состояния в другое. Дела нанизывались погашенными чеками на гвоздь – каждое последующее прибавляло предыдущее книзу.

Та часть меня, что ещё несколько дней назад демонстрировала напоказ силу, запаниковала и потеряла бдительность.

Затравленная же в глубине жертва неожиданно приподняла голову.

Вечером сидел за компьютером. Работа вот уже несколько дней потеряла цветность. Приходилось выжимать из себя каждое слово и бороться за него, когда в конце сеанса я порывался всё стереть, вымарать.

Не успел ни о чем подумать, а уже собрал всю картотеку

и нажал на кнопку удаления.

Куратор, разумеется, предугадал такой ход событий и запретил системе удаление данных.

Попробовал ещё несколько способов, так ничего и не вышло.

Отпрянул от экрана, кружил по комнате. Потом закинул ногу на табурет и всматривался невидящими глазами в голубое свечение. Чувствовал, вызревает бунт. И в то же время ясно осознавал, что объект и субъект бунта слиплись единым комом, и уже сам этот бунт управлял телодвижениями против воли.

Это взбесило. Я разъярился. Схватился за монитор и снял с насиженного места. Провода безвольно опали, выдернутые из гнезд. Кажется, тяжело дышал и слышал, как дыхание пульсирует за ушами и заставляет их гореть от стыда.

Глаза разбегались по комнате, ища, куда опрокинуть ящик. Уже готов был выскочить вон и разнести монитор камнями, палками. Руки отяжелели. И эта тяжесть отрезвила. Вернула самообладание, отвлекая мозг от бесконечного повторения цикла.

Я засмеялся. Не победным смехом силы, а истеричным протяжным смешком. Чуть было не выронил ношу из рук, содрогаясь всем телом.

Но теперь уже ни в коем случае не позволил бы такого кошунства; оберегал монитор как родное дитя. Подставил колено и поддержал, перехватываясь поудобнее руками.

Когда установил на прежнее место, был спокоен, но выхо-
лощен до предела. Не осталось больше ни сил для сопротив-
ления, ни возможности даже вызвать его в себе.

Еле стоя уже на ногах, доковылял до дверей, спустился к
берегу и широко размахнувшись, зашвырнул книгу в озеро.

Глава 2

#1

С того дня всё поменялось.

Чётко обозначились границы до и после.

Разумеется, я не считал ворох отпечатанных страниц формой жизни и не наделял их душой. Но отныне рядом поселилось сомнение. Я вскрыл конверт и вычитал в корреспонденции, что отныне ментальный должник. Что на мне поставлена сургучная печать, а имя балансирует в гроссбухах. Чтобы быть при случае извлечённым на свет.

Дни превратились в пытку.

Ускользал от любого мало-мальски значимого дела. Если бы не стихийные наезды куратора, давно бы себя запустил. Ощущая перед ним ответственность за человеческий облик, исправно брился и умывался по утрам. А всё выходящее за рамки этих обязанностей игнорировал или растягивал до последнего.

К примеру, стал скудно питаться.

В первые недели вахты получал удовольствие от готовки. Несмотря на скудные условия, мог всё утро кашеварить или возиться с чайником. Оставлял настаиваться, а сам уходил на прогулку. И бродил, пока пальцы ног не начинали просить

пощады. Тогда возвращался к ставшему родным порогу и с удовольствием пировал, раскрасневшийся возле печки.

Теперь же питался скромно. Заваривал крупы. Поначалу с консервами. Да ещё чередовал для разнообразия. Затем и от этого отказался, а просто распаривал в воде и подолгу жевал без бывшего аппетита. Непоправимо больной.

И от этого вдруг не сделалось хуже или бесцветнее.

Через короткое время открылся неисчерпаемый запас ароматов и вкусов в простой гречневой каше. А чай стал настоящим эликсиром. Теперь я совершенно точно знал, сколько отстаивать кипящую воду, как подготовить к заварке чайник, какие листья и специи можно положить.

Заново обростал смыслами, обнулив имевшиеся. И теперь уже не боялся грядущей встречи с зародившимся сомнением.

Был готов ко всему.

#2

Кажется, не слишком подробно рассказал о кураторе. А если и упоминал раньше, наверняка мельком или, наоборот, пространно и в возвышенных тонах.

Мы познакомились на той же больничной койке.

Он зашёл в палату и обвёл всех взглядом. Поначалу показался очень важным. В больничном халате поверх свитера

походил на врача. Под свитером, конечно, рубашка. Выглядело это старомодно, по-докторски. О чем он, вероятно, не догадывался, и потому надел ещё и шерстяные брюки серого цвета. Если бы не бахилы поверх обуви, я, пожалуй, и не воспринял бы его так серьезно.

Да, зашел в палату и озирается по сторонам. Взгляд порхает по лицам, похожий на солнечный зайчик. В ответ либо жмуришься, либо с кривцой улыбаешься. Подумал, выбирает из нас зачем-то. Оказалось, пришел именно за мной. И надо сказать, точно меня определил из всех, кто лежал в палате.

Представился следователем, предложил размяться. Я ни слову не поверил, но согласился. *Попробовали бы вы не согласиться.* Тогда уже оклемался немного и мог ходить по коридору от окна до окна.

Мы неторопливо шли и переговаривались.

На следователя совсем не похож, это точно. Чересчур задумчивый, отстранённый. Следователей совершенно не так представлял: прут напролом, не считаясь с чувствами. Выполняют работу, да. Куратора не интересовали ничьи чувства, это я тоже понял; он проявлял другого рода интерес, и это подкупало. Если, конечно, готов пойти на подобную сделку.

Да, определенно, врач.

И я старался донести до него события того вечера. Восстановить во всех подробностях, на которые был ещё способен.

Конечно, темнил. Совсем не хотелось выставлять тех ребят в неверном свете. Ведь уже понял, что не из милиции.

Это было игрой для обоих. Ему быстро наскучило, и он сказал:

– Ладно, Андрей, это глупо.

Я впервые увидел его улыбку, направленную чуть внутрь. Сложно объяснить такое! Просто он всегда выпадал из окружающей действительности. Например, заходите в комнату, где полно народу. Люди держатся кучно, но всегда есть один выпадающий вон. Обычно его несложно отыскать и по внешним признакам: тот старомоден, та гротескна, этот без всякой меры усреднен. А куратор выпадал не внешне, а изнутри. Да так, что через короткое время начинало казаться, что выпавший рядом с ним – ты.

Самое большее, на что меня хватало, – быть неразумным ребенком. Нужно же как-то реагировать на его мягкое вмешательство; а когда вмешательство бывает чересчур мягким, ты сам мякнешь и уже ни на что не годишься со своими ухищрениями и притянутыми силком мыслями.

Нет, никакой не следователь.

– Вы о чем? – переспросил я, стремясь не сдать сразу игру.

– Андрей

Да, вот так просто.

– Зачем Вы пытаетесь выгородить нападавших?

Кажется, после этого вопроса я поплыл. А он заметил и надавил:

– Есть свидетели, которые утверждают, что напали Вы, Андрей.

Я посмотрел на него в упор.

Разумеется, он и не подумал отвести взгляд.

Тогда я не выдержал и подхватил его под локоть. Мы проходили мимо телевизора. Там собрались, кажется, все ходячие. Головы отвернулись от экрана и теперь разглядывали странную картину. Я тянул, а он стоял на месте, неподвижный.

Посмотрел на мою руку, и я отстранился.

– Пойдёмте, здесь громкий телевизор. – Сказал ему, как ни в чем не бывало.

Возле лифтов нашёлся удобный закуток. Он сел на подоконник и сложил руки на коленях. Изредка по делам пробегали медсестры. Всякий раз здоровались с ним, и я окончательно уверился, что он здесь работает.

Отсюда же и интерес к моему избиению.

Отпираться было глупо, и я рассказывал всё. Куратор слушал внимательно и направлял разговор с той же мягкостью. Когда я стопорился или путался в деталях, он поддакивал и играл на меня. По мелочи, но этого хватало, чтобы симпатия разрасталась до циклопических размеров.

Он видел меня насквозь, а именно от себя настоящего я и

спасался в разговорах с соседями по палате. Поэтому при появлении человека, который мог так запросто считать мою судьбу, почувствовал всю слабость положения. И встал на задние лапки. Это была особая симпатия *с душком*, которая ещё не раз давала о себе знать в дальнейшем.

Когда договорили, куратор проводил меня до палаты. Перед дверью придержал.

– Не грусти, – сказал он.

Ушел.

Я уселся на койку. Всё ещё под впечатлением. Не знал, чем себя занять.

Сосед это заметил и сказал:

– Хороший у тебя старик.

– А? – Задумавшись, не сразу догадался, что обратились ко мне.

– Твой отец.

– Он мне не отец, – возразил я.

Сосед, кажется, терял интерес. Только удивился:

– Странно, – сказал. – А чего ж тогда высиживал всё время, когда тебя только привезли? Разговаривал, что-то рассказывал.

Остальные прислушались.

– Чудак! – Подытожил сосед.

И остальные хмыкнули, соглашаясь.

Вот такой был мой старик!

#3

Теперь становился мифической фигурой, сотканной из противоречий.

Во-первых, изоляция сделала его желанным гостем. В то же время я боялся и помыслить о его приезде, чувствуя, что в его силах запустить остановившиеся часы.

Во-вторых, в его глазах всегда подмечал ту двойственность: одновременно и считается с тобой, желает помочь; и в то же время сожалеет, что перед ним *ты*, а не кто-то другой.

О, я прекрасно знаю, откуда берется это ощущение.

Помню, явился в зал суда. Решался вопрос о разводе. Все уже были там. Вика зачем-то притащила Сашку. Я шутил и веселился – смех всегда помогает, если ты в ужасе. Не знал ещё, что вопрос решенный.

И не унывал, даже когда суд отнял ребенка. Постановил, что довольно и одного свидания в месяц. Не унывал, да. Перехватил Сашку после заседания, и пока жена подписывала бумаги, рисовал картины. О том, что не брошу, не оставлю. Мальчишка слушал, наклонив голову. А я не сразу и понял, что держу его за локоть. Он, главное, думает, что на него ополчились, ругают. Поэтому кивал и соглашался. Я не унывал. Мне этого было мало, хотел, чтоб он смотрел в глаза. Думал, так скорее поверит.

Повернул лицом к себе и увидел это выражение.

Никого не виню! И не верю, что за месяц, пока лежал в больнице, сын успел поменять ко мне отношение. Да даже если Вика что-то ему втемяшила! Скорее, этот взгляд говорил, что Сашке уже любой исход по душе, лишь бы его не хватали вот так за локти и не перетаскивали канатом. Парень просто устал!

А я неправильно понял. Подумал, он хочет, чтобы я оказался другим человеком. Потому, что и сам хотел этого больше всего.

И куратор этим пользовался. А может, вызывал эти мысли, сам того не ведая. Но им некуда было устремляться. Поэтому всякий раз они подбирались чуть ближе, а я безрезультатно от них двигался.

Впервые за долгое время вспомнил о Еремееве.

Когда выкинул злосчастную книгу, наметившаяся с ним связь разорвалась.

Вот, что бы мне сейчас точно помогло.

Да, кажется, я упустил из вида ещё один сон, который увидел в то время.

#4

Помещение кабинета.

Возле единственного окна стоял широкий стол. Столеш-

ницу целиком накрывал лист плексигласа, под которым красовались разного размера, формы и цвета записки. Всё, что могло помочь творческому процессу. В углу стояла печатная машинка, укрытая цветастым полотенцем. Здесь же – стакан с карандашами и ручками, стопка чистых листов и кожаный переплет с исписанными страницами.

Видел стол в мельчайших подробностях; а примыкающие к нему книжные шкафы едва различал. Они казались скопищем разноцветных корешков. Картинка столь расплывчатая, что могла сойти за расцветку обоев, а то и за развешанные по стенам рисунки.

Обернулся, чтобы рассмотреть вторую половину комнаты, и увидел кресло. С тумбой и торшером. А в кресле – Еремеев собственной персоной.

Сокрытый от глаз пеленой, сидел без движения; абсолютно спокойный. Но в этом измерении я мог видеть не только глазами. Переключался между двумя углами зрения. И один из них отчётливо давал понять, что за внешним спокойствием скрывается сосредоточенная внутренняя работа.

Еремеев сидел, закинув ногу на ногу, а руки держал перед собой. Пальцы широко расставлены и сопряжены попарно, образуя нечто вроде треугольной клетки. Там, в середине, бился и подрагивал какой-то сгусток. Будто Еремееву удалось вытолкнуть мысли из головы, и теперь он их сосредоточенно рассматривал.

Послышался стук.

За пределами комнаты я чувствую оживление. Извне вдоль стены слышится топот.

Еремеев вдруг пробуждается и кричит на звук:

– Если опять Бахрина принесло, не вздумай пускать. Скажи, мать ещё спит.

На мгновение шаги стихают. Сын слушает из-за двери указания отца. Потом снова снимается с места и бежит в прихожую. Слышится звук замков. Затем голоса: взрослый и детский.

Казалось, Еремеев на это короткое время снова прикорнул. Ничего не чувствую из его угла. Пока не начинает подниматься волна раздражения. И копится тем больше, чем отчётливее становятся слышны голоса. Когда раздаётся легкий стук в дверь кабинета, раздражение доходит до высшей точки и Еремеев срывается:

– Да?

Дверь откидывается в сторону. На пороге толпятся фигуры: мальчишка и мужчина. Обе искорёжены пеленой до неузнаваемости. С ребёнком, конечно, всё ясно. А взрослого могу опознать лишь по реакции Еремеева. Тот злится и с трудом сдерживается, чтобы не закричать.

Значит, передо мной – Бахрин.

– Как ты, Володя? – Спрашивает он с порога.

Ясно, что на самом деле его это совершенно не интересует и пришёл он не за тем. Не укрывается это и от Еремеева. Да

он и не пытается заигрывать, а спрашивает с рывка:

– Чего тебе? Я же, кажется, просил больше не приходиться!

Эта прямота делает увилки бессмысленными. Бахрин без разрешения проходит в комнату. А мальчишка так и остается стоять на пороге. Чувствую напускное спокойствие вошедшего; он готовился к этой встрече и заранее сделал над собой усилие, чтобы не реагировать на грубость. Это не обозначает уверенности. Сомнение вуалью преследует его. И заставляет изнутри вздрагивать и опасаться разговора.

– Не очень ты рад старому другу, да? – Говорит Бахрин с улыбкой.

Еремеев не меняет позы. Сидит, соединив перед собой пальцы. И теперь разглядывает сквозь них – и сквозь то, что в них заперто, – вошедшего.

– Илья, я всегда тебе рад. Был и буду. – Отвечает он, наконец. Но без теплоты, по заученному. – Только тебя самого всё меньше в том, что вижу. Ты – пущенная стрела. Поэтому и не спрашиваю, как ты, и не жду, что тебе интересен я. А хочу перейти сразу к делу.

Бахрин вглядывается в кресло. Ищет в нём старого друга. Кажется, его план вот-вот рухнет.

А Еремеев поторапливает:

– Ну, чего тебе?

Он, что, действительно не понимает?

И опять за своё:

– Ладно, Еремеев, с тобой разговаривать – легче дерьма

наестся! – Говорит. – Понимаю, жизнь у тебя не сахар, но собачиться с последними друзьями...

Еремеев поворачивается в кресле, скрип подлокотников. Бахрин прерывается и тут же продолжает, чуть повысив голос:

– А пришел – раз уж тебе нужны цели – не ради тебя, а ради Кольки.

Еремеев отвечает совсем невпопад:

– Полина спит. Колька разве тебе не сказал?

Он произносит имя жены, и я чувствую в Бахрине оживление. Понимаю истинную причину прихода. И Еремеев, конечно, понимает. Мы находимся в точке пересечения. Всё, что я вижу – не воображение или сон. Это – подарок Еремеева, – то, что он позволяет увидеть.

Увлеченный знанием, совершенно забываю про мальчишку. Он на периферии зрения, ещё более расплывчатое пятно, чем раньше. Пока его не извлекает Бахрин:

– Коля, зайди, пожалуйста.

Он так ничего и не понял, поэтому ведёт себя нахально. Чем раздражает. Понятна и причина такой наглости. Бахрин обречен, он не может иначе себя вести. Здесь его последний шанс вмешаться. Хваткий и беззастенчивый, он транслирует свою участь на окружающих, чтобы только укрыться от них.

– Так вот, я пришел просить тебя, – даже и со всей нахрапистостью, Бахрин делает ударение на слове *просить!* – Дай мне помочь! Я увезу Полину. Ей нужно лечение. А Колька

сможет оставаться с матерью, там есть школа при посольстве.

Он перечислял и перечислял как по рекламному проспекту.

– Смогу за ним присмотреть. Я бы и тебе предложил, но прекрасно знаю, что ты не сдвинешься с места.

У него было всё схвачено...

– Всё готово, я всё уладил, – подтверждал он, – нужно только твоё одобрение.

Взгляд Еремеева устремляется на сына. Черты ребенка проступают из пелены, и в какой-то момент кажется, вот-вот станут различимыми. Чувствую, как замирает сердце Еремеева, как тяжело даются ему слова:

– Уже говорил тебе. Могу повторить и ещё раз: *нет!*

Бахрин беззвучно пятится назад. Картинно, театрально... Оказывается у окна, ищет выхода. Опускается на стул.

– Ну и сволочь же ты!

– Да, и это мы тоже проходили, – замечает Еремеев, разглядывая бывшего друга.

– Нет. Ты не на меня смотри, Володя! Лучше посмотри на сына.

Мальчишка вот-вот разрыдается. Всматриваюсь вслед за Еремеевым в крохотную фигурку. И так же не могу понять, отчего...

Бахрин врывается, заслоняет:

– Он рассказал о вашей размолвке. Полина узнала диагноз, да? – И вдруг устраняется. – Расскажи ему, Колька!

Мальчишка всхлипывает, теряется в дверях. Не знает, что делать. Ясно, Бахрин успел сунуть всюду нос. Мальчонка разрывается. Видно, как тяжело ему даётся эта сцена. Но вдруг решается. Утирает нос, и выдает в одно слово:

– Да, я слышал, вы ругались.

Слова безобидны. Ничего не значат. Теряюсь в подлой ухмылке Бахрина, но делаю усилие и перевожу взгляд на парня.

Еремеев уже видит его глаза; задыхается, медленно водит головой. Похож на горького пьяницу – он застрял в глубине кресла и не может выскрестись из него.

Только сейчас до меня доходит. Тот Еремеев, что делится со мной воспоминанием, уже знает, чем всё закончится. И он раздавлен. Тянется к сыну и ничего не может уже поделать. Только говорит с некоторым запозданием, вынужденный повторять заученные слова:

– Вот как?

– Да! – Подзадоривает себя ребенок.

Бахрин всё так же сидит на стуле. Отвратительный, похожий на спрута, распутившего вокруг щупальца. Ребёнок не имеет значения. Он прикрывается им, гася сопротивление Еремеева.

Подбегаю к Бахрину. Хочу схватить за лацканы пиджака. Проорать что есть мочи: *Неужели ты не видишь? Я не сопротивляюсь, не играю; нет больше сил. Я проиграл. Проиграл. Проиграл, наскудная ты голова!*

Поздно. Еремеев выскакивает из кресла. Он заведён, по-

давлен, уничтожен. Последнее действие в жизни, ему всё равно.

Чувствую отвратительный запах табака. Он курит, без конца курит, прячась в чёртовом кресле.

А тут превращается в паяца, смеётся, шутит.

– А давай, Колька! Пойдем прямо сейчас, разбудим маму и спросим, не хочет ли она поехать лечиться. Давай?!

Ребёнок напуган, жмётся к двери. Отец нависает; кажется, чувствует страх и напитокывается им.

– Что же ты делаешь, сволочь? – кричу вслед за Бахриным.

Сердце рвётся из груди. Хочется упасть на пол и молить мальчишку о прощении. Еремеев продолжает чеканить приговор:

– Не хочет ли она бросить всё, и гоняться за химерами с твоим дружочком, Ильёй Сергеичем?!

Лоб прожигает нестерпимой болью. Силуэт сына рассыпается в глазах тысячами осколков. И существует отовсюду одновременно. Слышатся всхлипы, потом крик: Папа, папа, папочка! Повторяется раз за разом. И сливается в один пронзительный слог *па*. Картинка засасывается в сгусток между пальцев Еремеева и становится плоской. Ужимается до одной линии.

Напротив сидит Бахрин. Напоследок ещё раз слышу голос сына; он зовет, упрашивает.

А я вываливаюсь стремглав из чужого видения.

#5

Возвращаюсь с прогулки.

Далековато в этот раз забрел. Уже темнело, когда выбрался на Гору. Холм, поднимавшийся над деревьями, сам оставался при этом безлесым. Медведь, стряхнувший налипшие к шкуре колючки. Последний рубеж перед домом. Короткий спуск, узкая полоса леса, и оказывался у подъездной дорожки. И уже по ней добирался до самого крыльца.

Звук двигателя послышался ещё наверху. Деревья закрывали дорогу, но и так было ясно, что это он. Я нарочно замедлил шаг, чтобы не подать виду, будто хочется поскорее его увидеть.

То ли от волнения, то ли от подъема я взмок, и теперь холодок пробирал изнутри. Побуждал распахиваться, чтобы просушить одежду. Я не хотел приближаться к дому, собирался с мыслями.

Мне нравилось думать о сосуществовании с другим человеческим существом. Живя в городе, этого не понимал и не обращал внимания на то, что рядом в избытке живут люди. Так много, что перестаёшь считать их особенной ценностью. Всегда найдётся человек лично для тебя.

Но вахта – совсем другое дело. Она вселила ощущение оставленности. Его уже не выветрить, как ни старайся. Стремись мыслями во все стороны света, угадывая внутренними локаторами малейшее движение души. И сам факт отсутствия такового на километры вокруг переворачивает с ног

на голову твоё существо.

А теперь поблизости находился человек. И сразу обрастал ценностью просто потому, что был единственным. И ты уже не мог позволить себе расточительность.

Такие думы хороши на отдалении. Лучше всего их мыслить, сидя на вершине Горы и наблюдая за приближением постороннего.

Слышишь звук мотора и устремляешься глазами туда, откуда должна показаться машина. Но, разумеется, никакой машины там нет и в помине: лес пожирает звуки и выплевывает косточки там, где заблагорассудится. Вот и гадай, где находится незванный гость прямо сейчас.

Я поворачивал подбородком вслед за звуком. Не тратить понапрасну движений, ограничиться поворотом головы. Машина придвигалась к дому, и я про себя отсчитывал отсечки: прошла последний виток, заглушен двигатель, хлопнула дверь... И, наконец, из-за деревьев поднимался дымок. Куратор растапливал печь, поджидая меня с прогулки.

Но когда оказался перед домом, во мне вдруг проснулись совсем иные чувства. Ревность, злость. Мне не нравилось, что посторонний вмешивается в распорядок.

Никогда не топил печь в это время дня. Вполне достаточно двух раз: утром и вечером. А после куратора всегда стояла духота. И сейчас он, наверняка, хозяйничает в доме, со-

бирает к обеду. А лучше бы дожждаться сразу ужина.

Я вошел внутрь и увидел куратора. Разумеется, за плитой. Обжаривал мясные консервы; тут же кастрюля с гречкой. На столе – нарезанные овощи и зелень. И банка соли, которую не видел уже много дней.

– Привет, Андрюш! – Сказал он, не оборачиваясь.

Мы всегда некоторое время свыкались с присутствием друг друга, оставаясь чуть поодаль и присматриваясь.

– Здравствуйте, Геннадий Иванович! – Ответил я в той же манере. И прошел в комнату.

Он постукивал в сковородке лопаточкой, оставаясь ко мне спиной. Сказал:

– Знаешь, мне совсем не нравится твой рацион. На одних кашах ты долго не протянешь. Впадешь в спячку. А тебе не только шататься по округе нужно. Ещё и работать, помнишь?

– Помню.

– Ладно, об этом ещё успеем поговорить. Давай-ка пообедаем лучше. С дороги будет самое то.

Мы сели за стол друг напротив друга.

Куратор пребывал в хорошем настроении. Хотя я давно уже обратил внимание, что подобные характеристики неприменимы к этому человеку. Всё хорошее и плохое всегда сохранилось в нём одновременно и могло произвольно переключаться. Даже в рамках одного взгляда или брошенной фразы.

Пространно рассказывал о том, о сём. И одновременно

ни о чём, памятуя об информационной диете. Давал сведения порционно, практически не касаясь сколько-нибудь значимого. Житейские истории, больше похожие на бородатые анекдоты. Он выбалтывал их волнами, не позволяя ни на минуту повиснуть тишине. А если это происходило, гипноз его обаяния опадал подобно занавесу, и я мог на долю секунды задержаться взглядом на его глазах, положении рук, позе. Где и обреталась подноготная. Запросто не прочтешь, но иногда всё ясно и без словарей.

Сейчас, пока его рот вещал не переставая, он, наверняка, обдумывал, как бы меня приструнить.

Знаю, звучит так, будто мне и хотелось думать, что все его мысли текут в одном направлении. Готов ручаться, так оно и было.

Как-то само собой куратор повернул разговор так, что я уже не слушал его рассказ, а сам рассказывал о происходящем. Он изображал заботливого наставника, заинтересованного в том, чтобы раскопать сомнения и тревоги.

В известной мере так и было. Весь эксперимент позиционировался научным исследованием в области психологии. А сам величался психологом. Хотя на прямой вопрос никогда не отвечал. А я не верил, что он на самом деле дипломированный мозгоправ.

Что был им по призванию, вопросов не вызывало.

Самое страшное, что даже предчувствуя манипуляции, всё равно попадался на крючок и оттаивал от одного ласко-

вого взгляда или слова. Оставаясь весёлым и свойским, куратор одновременно опутывал по рукам и ногам непререкаемой волей и заставлял делать положенное.

Я лепетал напуганным мальчишкой, выталкивая скопившееся за душой; а он цедил полученные мысли, словно обладал властью решать, какие достойны внимания, а с какими оставляет меня и впредь.

Поэтому я и частил, чтобы выговориться и рассчитывать на отпущение навязчивых идей.

Затем куратор обрывал поток слов, и мы снова принимались за еду, ни на чём больше не заостряя внимания.

Только лишь переход к следующему включению.

– Я заходил в сарай, – сказал он невзначай.

– Да?

– Да. Дров у тебя пока что хватает. Хозяин не преувеличивал: должно хватить на всю зиму.

– Да, дров много. Понапрасну не жгу.

– Андрей.

– Дважды в день не больше. Плюс один банный день в неделю.

– Андрей!

– Да?

Смотрел в упор, а я всё увиливал. В такие минуты доказывал себе в мыслях, что он не имеет никаких прав на меня. Что это я делаю одолжение, добровольно пребывая в одино-

честве посреди леса. Что стоит захотеть, пошлю всё к чертям и отправлюсь домой на первом же поезде.

– Ты совсем не израсходовал бензина с прошлого раза.

Голос звучал помягче. Куратор уловил перемену в настроении, и отодвинулся чуть назад, давая возможность самому убедиться в его правоте. Прежде чем предпримет новую попытку.

– Да, почти не работал, – ответил я, готовясь обрушиться красноречием, скопленным за часы прогулок.

Не понадобилось. Куратор уже поднял руку, обозначая новый виток разговора.

– Ладно, ничего страшного, ещё успеешь.

Я опешил. Не ожидал такой реакции. Даже совестно, что чуть было не поддался гневу, хотя он того не заслуживал. Желая реабилитироваться, пообещал:

– Не волнуйтесь, я, правда, наверстаю!

Он был сама теплота.

– Андрей, уже не раз говорил, что всё это, – он обвел взглядом бревенчатые стены дома, – затеяно только ради тебя. У меня достаточно времени, чтобы подождать.

Пробрало от накотившего умиления, и я смолк. Он улыбнулся. А следом припечатал:

– Вопрос, есть ли время у *тебя*?

Вот оно! Закинул крючок и ждёт. Поднялся из-за стола, собрал посуду. У раковины снова повернулся и спросил, якобы переменяя тему:

– А помнишь Еремеева? Я дарил тебе книгу о нём.

Я кивнул. Внутри колыхнулось что-то неприятное. Мне-то казалось, что и не вспомним о книге. А тут вдруг проснулся.

– Он был мне близким другом, – сказал он.

И я вдруг понял, что даже не спрашивал об этом. Кажется, зная заранее, что Еремеев очень важен куратору. Теперь всё сходилось.

– Сказанное в книге – розовый лепет. – Продолжал он. – А я наблюдал всё воочию. Как выхаживал жену без надежды спасти, как отдалялся от сына и скрывался от мира.

Когда рассказывал, его глаза разгорались. Тот самый момент. Защита растворяется в воздухе, и вроде бы виднеется настоящий человек. Но уже в следующий миг забрало опущено, а огонь в глазах утихает, съеживается.

– Всё прожито, а значит, потеряло в осязаемости. Похоже на старую кинохронику. – Теперь смотрит на меня. Ищет что-то. – И вот передо мной ты, и снова вижу всё это вживую. Вот-вот ступишь на его путь. И если не возьмешься за голову, сгинешь.

Сажу на месте, будто ожидаю чего. Следующей фразы, хода. А старик, видно, счёл разговор окончанным; повернулся к раковине и намыливает тарелки. Знаю эту привычку. Когда разговор окончен, он окончен. На сцене опять добрый старик, которого можно расспросить, рассчитывая на поддержку и совет.

Вопрос так и крутится на языке:

– Геннадий Иванович, у вас есть дети?

Плечи старика на мгновение остановились, перестали ходить вверх-вниз над раковиной. Тут же взял себя в руки и продолжил тереть губкой. Слышался скрип перемытых тарелок. Потом всё-таки обернулся.

– Был сын. Погиб совсем молодым. – Лицо – мраморная маска. – Почему спрашиваешь?

Не ожидал, что и здесь переведёт на меня. Замолчал. А впрочем, можно и поделиться.

– Вспоминал сегодня своего, впервые за долгое время. Испугался, что теперь и не узнает отца.

Куратор только хмыкнул.

– Да уж точно! Если бы сам не знал, кто здесь живет, посчитал бы, что набрел на партизанский блиндаж. – И с улыбкой добавил: – Пользоваться бритвой, кстати, не преступление.

Я потер подбородок. Щетинки захрустели под пальцами, признавая за куратором правоту.

Всё шуточки. Устраняет с запретной территории. Разговоры о семье – табу. Но переводить тему не хотелось.

– Я не совершаю ошибку? – Спросил, заранее зная, что это его расстроит. – Иногда кажется, что должен мчаться в поезде домой, вместо того, чтобы торчать здесь.

Куратор соизволил отвлечься. Похоже, углядел серьезность момента. Закинул полотенце на плечо, подошел бли-

же. И поставил табурет прямо передо мной.

– Уже проходили это, Андрей. Последний раз, когда ты хотел мчаться, тебя чуть до смерти не забили, как дворнягу.

С каждым сказанным словом куратор больше и больше заводился. Тянулся телом вперёд. Казалось, он вот-вот меня ударит.

– Так что теперь давай-ка по-моему – или никак! Сажусь в уазик и в поселок. А ты уж тут сам. Надумаешь бежать – топай пешком. Только не угоди в медвежью яму. Такого конца даже с моим чувством юмора не переживу.

Оттолкнулся от табуретки и вскочил пружиной. Я ловил каждое движение и потому заметил, как по его лицу расплылась широкая улыбка, которая никак не клеилась со вспышкой гнева.

Окончательно запутал старик. Сорвал с плеча полотенце и с нажимом повесил на крючок. Да так, что чуть его не обломал.

#6

Больше ни слова о делах. Только шутил и сыпал историями.

Сказать по правде, напоминал мне отца. Умением использовать внутренние колебания себе во благо. Опытный борец, он перехватывал энергию и поворачивал в нужном направлении.

Вот и теперь я выслушивал его истории. А сам думал толь-

ко о Еремееве. Раз уж мысли о нём находились в безопасной зоне.

Чтобы развеять накатившую тоску, выспрашивал, кто такой Бахрин. Грех не воспользоваться болтовней старика. Подумал, ему будет приятен интерес.

Вместо этого он весь подобрался.

– Откуда знаешь это имя? – Потом вспомнил: – А, книга. Да, был такой тип. Один из друзей Еремеева. Довольно противный, поэтому особо с ним не общался.

Словоохотливость вмиг закатилась под стол. Приходилось тянуть каждую деталь. Да он немного-то и знал нового.

Бахрин первым увился за Полиной. Это я уже и так понял. И то, что Еремеев сначала её даже не замечал. Потом они быстро сошлись – Полина помогала Еремееву с рукописями, – и он сделал ей предложение, оставив приятеля ни с чем.

Однако Бахрин вроде бы даже сумел переломить себя и продолжить общаться с Еремеевым несмотря ни на что. По этой части сведения куратора были скудными.

А я цену Бахринской дружбы уже знал.

Разговор снова утёк в никуда, и там зачах. Куратор высидел с час. Мог бы двинуть домой и раньше, но присутствием, видимо, наказывал за непослушание.

Часов в восемь узик двинулся в обратном направлении,

разрезая фарами темень.

#7

Куратор просил не провожать, и я сидел без дела за столом. Остатки ужина лежали передо мной. Так и не домытые тарелки и чашки. Запечатлённое в кадре одиночество – я давно уже привык к отсутствию посторонних предметов, а вызванный появлением гостя беспорядок только усиливал ощущение.

Взялся за уборку и делал всё нарочито медленно. Кажется, тогда в первый раз выдумал измерять вот так потраченное время и растягивать его, выстраивая правильным образом дела по дому.

Когда высушил и положил на полку последнюю чашку, застыл на месте: руки уперты в края раковины, голова втянута в плечи и смотрит вниз и вбок; ноги напряжены.

Вспомнил Еремеева. Точнее то, что говорил куратор. Еремеев, которого ни разу ещё не видел, обратился голосом куратора. Представилась моя фотография. Та самая из книги. С проделанной во рту дыркой: бумага сгибалась, шевеля серыми губами. И произносила слова: *Если не возьмёшься за голову, сгинешь*. Ещё и ещё.

Мои настоящие губы задрожали. Хотели закричать в ответ, что им нет до этого никакого дела. Ведь пока что это я – только я! – гублю всех, до кого только могу дотянуться.

Хотелось зарыдать, но не выходило себя заставить. Слезы

– чистый акт, и как только примешиваешь к нему мысль, даёшь железам отбой. Слезы высыхают сами собой.

Поэтому просто стоял, вцепившись в раковину, и ждал. А чего ждал, так и не понимаю до сих пор. Мысленно обращался к Еремееву и надеялся, что удастся восстановить утраченную связь.

Бессмыслица. *Как и вся жизнь.*

В лопатках кольнуло. Или постучали пальцем по спине, причём настойчиво так. Обернулся – никого. Всего лишь спазм.

В комнате очень душно. Выкачали весь кислород, нечем дышать. Повело в сторону, еле устоял на ногах. Хотел открыть дверь на улицу и впустить свежий воздух. Двинулся к углу комнаты, и вернулось болезненное ощущение в спине. В этот раз настоящим приступом боли.

Схватился за спину, скрёб снизу и сверху рукой. Не мог дотянуться. Будто между лопаток всадили нож, а я стремился его извлечь. Ничего не выходило. Жар поднялся к голове, запылало лицо. Понял, что не успеваю выбраться на воздух. Сникаю, клонит к полу. Уже рухнул на одно колено и продолжаю падать; пол приближается слишком быстро, вытягиваю вперёд руки, чтобы опередить. Толчок в запястья, кисти выгибаются, а я несусь ниже и ниже. Хочу сгрести в объятия и расцеловать дощатый пол. Холодный на ощупь, он так и ласкает разгоряченный лоб.

Поднимаюсь по лестнице. Легкие наполнены чем-то тяжёлым, тугие мешки с песком. Ноги еле ворочаются. Сверху слышатся голоса. Не могу разобрать ни слова, но знаю точно, что оказался здесь именно из-за этих голосов.

Прибавляю шаг и поднимаюсь двумя пролетами выше. Преодолевая последний, вижу открытую дверь справа от лестницы. Широко расставив ноги, стоит женщина. Силуэт тонок и прозрачен. Почти не оставляет в уме зацепок.

Придерживает дверь перед другой смутной фигурой. Еремеева узнаю без труда.

Стоит спиной. Облик колеблется зыбью. Размываются очертания, не ухватить даже телосложение. Пристальнее вглядываюсь. В ответ картинка чуть проясняется, открываются детали. Сердце бьётся быстрее. Кажется, вот-вот увижу того, с кем давно сросся мыслями на вахте.

Всё вдруг оборачивается издёвкой.

По-прежнему вижу едва очерченный силуэт. Зато одежда проступает с точностью. Еремеев одет как я в день приезда: тёмно-синие джинсы, высокие коричневые ботинки и длинная куртка с капюшоном. Еремеев стоит с непокрытой головой. Лица не видно. Даже если бы повернулся – готов ручаться! – я бы ничего не разглядел. Потому что не видел раньше.

И сейчас осматривал собственный затылок.

Голоса оживились. Говорили горячо, и я не на шутку встревожился. Уже привык, что от Еремеева не приходится ждать историй с хорошим концом. Поэтому первым делом подумал, что двое ссорятся.

Но вдруг услышал взрыв женского смеха. Полина всегда смеялась очень тонко. Её смех разбивался на тирады, она расходилась к концу каждой из них, и казалось, вот-вот лопнет от веселья.

А Еремеев жестикулировал перед ней руками, похожий на артиста, циркача. Держал холщовую сумку и извлекал из неё предмет за предметом. Комментировал находки и подолгу крутил перед лицом жены. Полина хохотала, но отказывалась впускать его в квартиру, пока не покажет всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.